



ЕЛЕНА КРЮКОВА
РУССКИЙ ПАРИЖ

р о м а н

Елена Крюкова
Русский Париж

«WebKniga»

2014

Крюкова Е. Н.

Русский Париж / Е. Н. Крюкова — «WebKniga», 2014

Русские в Париже 1920-1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине – может, уже никогда не придется ее увидеть. И – великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.

© Крюкова Е. Н., 2014

© WebKniga, 2014

Содержание

Ренэ Герра	6
Канкан	8
Глава первая	8
Глава вторая	18
Глава третья	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Елена Крюкова Русский Париж

- © Елена Крюкова, 2014
- © Валерий Калныныш, оформление, 2014
- © Владимир Фуфачев, иллюстрации, 2014
- © «Время», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Серия «Самое время!»

Русские в Париже 1920—1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине – может, уже никогда не придется ее увидеть. И – великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.

*Памяти Марины Ивановны Цветаевой и ее семьи;
Ренэ Герра, великому французу и великому русскому;
всем русским, живущим вдали от Родины – посвящаяю*

Ренэ Герра

Русская Франция: реальность и символ

Русская послереволюционная эмиграция – уникальное по своим масштабам и культурному значению явление. Феномен культуры русского зарубежья, сложившийся в период между двумя мировыми войнами, не имеет аналогов в истории человечества. Революция оторвала от России творческую интеллигенцию, которая волею судьбы оказалась по другую сторону рубежа.

После Октябрьского переворота и по окончании Гражданской войны русская культура Серебряного века оказалась выброшенной за пределы России, и с 1924 года Париж стал де-факто столицей Зарубежной России.

Итак, две великие культуры, русская и французская, волею судеб стали сосуществовать на французской земле. Отсюда сразу возникает целый ряд вопросов об их взаимоотношениях, взаимопонимании, взаимопроникновении, о восприятии и вкладе русской культуры во французскую культуру... Что касается русских культурных деятелей Рассеяния, писатели, поэты, философы и художники поистине совершали подвиг: в чужой языковой среде, в чужом быте, в отрыве от родной почвы, они всячески стремились сохранить себя, свои традиции, чистоту русского языка, дух и ценности исконно русской культуры, попираемой на родине большевиками. Ведь каждый из них унес с собой Россию, свою Россию, и преданность ей...

Мой покойный друг Роман Борисович Гуль метко озаглавил свою трехтомную апологию эмиграции: «Я унес Россию». Ведь они все – великие известные и великие неизвестные – оставались до конца подлинными российскими интеллигентами, доброжелательными, чистыми, наивными идеалистами – тургеневскими «лишними людьми». И эти «лишние» – соль земли.

Поэт и критик Юрий Иваск как-то написал: «Эмиграция всегда несчастье. Ведь изгнанники обречены на тоску по родине и обычно на нищету. Но эмиграция не всегда неудача – творчество, творческие удачи возможны и на чужбине».

Эта трагическая страница русской истории XX века оказалась великой удачей для ее жертв и в конечном итоге для всей русской культуры.

И тому лучшее доказательство – всемирный успех представителей русской элиты в Рассеянии, ставшей сегодня национальной гордостью не только Франции, но и России. Своим творчеством, своей жизнью они доказали, что когда-то ими был сделан трудный, но правильный выбор. Этот опыт и пример русских изгнанников – в высшей степени поучительный урок, предпосланный новым поколениям посткоммунистической России.

Я же сохраняю обо всех этих белых эмигрантах благодарную память.

Русская первая эмиграция уже стала и для французской, и для мировой культуры своеобразным символом стойкости духа, щедрости сердца, возможности сохранить духовные сокровища нации в иной языковой и культурной среде.

Очень важно, что русские писатели, художники сейчас обращаются к теме русской эмиграции во Франции, тем самым подчеркивая связи двух культур, заново открывая исторические имена, события и положения. Так, для меня большой радостью явился роман Елены Крюковой «Русский Париж» – попытка художественно осмыслить все происшедшее с русскими во Франции в первой половине двадцатого века.

Елена Крюкова обращается и к истории, и к современности. Ее волнуют контрастные темы: религия, политика, эмиграция.

Автор пытается поднять событие до уровня мифологии, а сиюминутность – до уровня метафоры, символа-знака. Мост между мифом и ярко прописанными картинками реальности, жизни – вот творческое кредо писателя.

Так, на стыке жесткой реальности и высокой поэзии, написан «Русский Париж» – своеобразная торжественная ода белой эмиграции, переходящая временами во взволнованный речитатив, а иной раз – в поток чистой исповедальной лирики.

Это художественный текст, основанный на узнаваемых исторических фактах, на моментах жизни реальных исторических персонажей. Это своеобразная гигантская фреска, фигуры которой живут по своим законам.

Не столь важен сюжет, сколь живая боль и живая радость тех людей и тех далеких лет – а они сполна присутствуют в книге.

Я желаю этому роману счастливой судьбы.

Канкан



Глава первая

Поезд «Прага – Париж». Катит через всю Европу: с востока – на запад. Темнота, духота, тряска. Из старой кожаной сумки – запах еды. Верная подруга Заля Седлакова насовала с собою в дорогу всевозможной снеди – чтобы дети не голодали. Дети, да. А они с Семеном? Они уже могут не есть ничего. Питаться святым духом.

Вагоны трясло на стыках. Стекла окон затянуты страшными ледяными узорами. Анна не спала, глядела в окно. По зрачкам резко, больно бил фонарный свет. Станция. Анна не жмурилась. Широко открыты глаза. Думы овевают лоб, как табачный дым. Жаль, в купэ нельзя курить.

Поезд опять стоял, на перроне уныло выкликали время отправления: сначала по-чешски, потом по-немецки, потом, после Страсбурга, – по-французски. Анна так и проехала всю Гер-

манию – с широко открытыми бессонными глазами. Когда фонарь бил то синими, адскими, то густо-желтыми, как яичный желток, лучами в замерзшее окно, Анна видела: ледяные розы и тюльпаны на оконном стекле вспыхивают, искрятся.

Дети тихо спали на нижней полке, вдвоем. Аля крепко прижимала к себе Нику. Ника оттопырил во сне нижнюю губу и стал похож на сына Наполеона. Теплые комочки. Родные. Спят или притворяются? Нет, кажется, спят, и крепко. Укачало их.

Семен не спал. Она слышала. Ворочался, вздыхал. Она лежал выше всех – на верхней полке: купэ было трехместное, и полки располагались одна над другой. Почему купэ теперь стало напоминать ей тюремные нары? Они же свободны, они в свободной Европе, и никакого красного террора, никаких расстрелов без суда и следствия. И – никаких тюрем. Пусть попробуют за решетку посадить!

Свобода Европы... блеф... пустота... суета.

Поезд шел, и качались вагоны, и внутри Анны рождались слова. Она все время гудела стихами, и днем и ночью. Днем научилась приглушать в себе эту музыку. Днем надо было работать, бесконечно работать. Зарабатывать деньги; варить еду; стирать и мыть; топить печь. Она без слез не могла вспомнить печи, что топила в Чехии – одну во Вшенорах, другую – в Мокропсах. Руки вечно в угле. Трещины на пальцах, на ладонях болят нестерпимо. Она сама пахла углем и гарью – вместо духов и пудры. Чудесное амбрэ.

Поезд, помоги... Поезд, стучи в такт...

«...мы в тюрьме. Мы за решеткой века. Кат, царевич, вопленица, вор. Не скотов сочтут, а человек. По складам читают приговор...»

Длинно, тяжело вздохнул Семен.

Вот так же уезжали из Москвы когда-то. Сначала до Петрограда; там на Виндавский вокзал, и поезд до Риги; а в Риге на перрон вышли, носильщик услужливо подбежал с тележкой, видит – поклажа тяжелая, залопотал сначала по-латышски – Анна глядела непонимающе, – он перешел на немецкий, и Анна вздрогнула и ответила: «Danke schön, ich habe kein Geld». Семен возмутился: что ты, Аня, у нас же есть деньги! Носильщик гордо поправил бляху на груди. Перевез на грохочущей тележке их багаж к берлинскому поезду.

Потом – Берлин. На перроне бледный поэт Андрей Быковский, встречает, губы трясутся. Семен подхватил все баулы и чемоданы один, чуть руки тяжестью не оборвал. Анна схватила на руки Алю. Тогда у нее была одна Аля. Ника тогда еще не родился.

Никогда не родиться и никогда не умереть – вот счастье.

«Улецают плесенью похлебки... К светлой казни – балахоны шьют... Затыкают рты, как вина, пробкой... А возжаждут крови – разобьют...»

Стихи лились: вино, кровь. Губы покривились в горькой усмешке. «Кому нужны будут русские стихи в Париже? Семену буду читать. Кошку заведу – кошке буду читать. Алю стихи уже не интересуют. Ее уже помады интересуют... туфельки на каблучках...»

Тяжелые веки опустить на глаза. Постараться заснуть. Хоть на час. На миг.

Берлин. Мрачные дома. Быковский нашел им тогда квартиру в центре, близ Александер-платц. Дешевую: чердак. Анна смеялась: как в Москве, в Борисоглебском! Семен устроился работать дворником – мел и скреб берлинскую улицу перед их домом. Анна кусала губы: уж лучше бы в газету! Дворнику платили лучше, чем журналисту. Аля по утрам плевалась от Анниной крутой, с противными комочками, манной каши. «Александра! Благодарю Бога за еду и ешь!» – зло кричала Анна, и лицо ее покрывалось коревыми, красными пятнами. «Вы же сами не верите в Бога, мама», – бросала ложку Аля на стол со звоном.

Они отыскивали в Берлине православную церковь и ходили туда с Алей. Аля видела: рука матери еле сгибается, чтобы перекреститься. Але нравились позолоченные иконы, густой бас священника. Анна стояла как столб, перемогая себя. Зачем мы сюда ходим, мама, спросила однажды Аля раздраженно, если вам тут нехорошо? «Чтобы не забыть, что мы рус-

ские», – холодно ответила Анна. Огромные светло-серые, ледяные глаза дочери вспыхнули. Она нарочно, назло матери встала на колени на грязный пол храма, чтобы запачкать единственное платье.

Поезд, стучи... Поезд, ездай вперед, только вперед.

«Бьют снега в окружая централа. Прогрызают мыши тайный ход. Сколько раз за век я умирала – ни топор, ни пуля... не берет...»

Пуля. Ее водили на расстрел. Жenu белогвардейца. Семен служил тогда в Белой гвардии, в Нижегородском полку. Где они стояли? Где сражались? У Анны родилась вторая дочка, Ольга. Леличка росла слабенькой: недоедала, кричала все время, так орала, что Анна однажды захотела заткнуть ей рот полотенцем – навсегда. И ужаснулась.

Леличка орала как резаная, и ночью громко застучали в дверь.

Анна открыла без боязни. В ледяные комнаты, провонявшие табачным дымом – Анна крутила себе из старых газет «козьи ножки» и запоем курила махорку – ввалились революционные солдаты. У них были страшные, веселые и грубые лица, багрово-румяные с мороза. Винтовки за плечами. Будто – косы у косарей в лугах. Косят смерть косцы, сгребают трупы в стога. «Анна Царева?! – оглушительно крикнул один. – Собирайсь! В кутузку! Муженек-то твой знамо где!» Она молча надела старую лисью шубку, повытертую каракулевую шапочку и валенки, рукавицы не забыла, и сухо сказала Але: «Александра, за Ольгой следи. Если я не вернусь – стань ей матерью». Аля кивнула. Из огромных глаз девочки рекой плыли слезы. У дочери глаза, как ледоход. Лед, медленно тая, идет по реке, кровь плывет, отражается синее Божье небо.

Тогда в тюрьме недолго Анну мучили: день всего, – и вместе с сокамерниками повели на расстрел. Они все прекрасно понимали – убивать ведут.

Рядом с Анной шли седенькая старушка в букольниках, в пенсне на горбатом носике; высокий, как жердь, мужчина с лицом твердым и жестким, будто из железа вылитым; две девушки, очень молоденькие, им не сравнялось еще и пятнадцати; и три разбитных мужика в поддевах, в купеческих жилетках; на запястьях и скулах мужичков – клеймами времени, привычного к боли и ужасу – ало-синие следы побоев. «Ну, старушка из благородных, высокий тоже, а этих-то за что?» – смутно думала Анна, еле переставляя ноги после бессонной тюремной ночи.

Шла и свои стихи повторяла: «О бессонная ночь, о пресветлая ночь! Все метания – прочь, все сомнения – прочь! Только твой золотой, пронизывающий свет. Только этот простой – на всю ярость – ответ...»

«Молись, дитя! – воскликнула старушка в пенсне. – Молись, ибо не ведают, что творят!»

Это была зима Восемнадцатого года: Царя и Семью тогда еще не казнили.

Анна знала, что царская семья где-то в Сибири. А может, на Урале? Слухи долетали и таяли в воздухе, как снег. Белого снега письма, инистая, льдистая древняя вязь. На нее наставили дула винтовок, палачей было четверо, а может, пятеро, она не запомнила. Стали стрелять. Старушка упала. Мужчина с железным лицом стоял, вцепившись в окровавленную руку. В него стреляли, а он все стоял и не падал! Пули свистели мимо Анны. Она молчала. Мысль работала ясно и холодно: сейчас я умру. Вот сейчас!

Раздался крик: «Прекрати-и-и-ить!». Солдаты опустили винтовки, матерились. Вразвалку подошел человек в черной кожаной куртке. Прищурился, глядел на Анну. И Анна поглядела ему в узкие татарские глаза. У ее ног лежали две убитые девочки. «На цыплят похожи». Мимо лица пролетела черная птица последней слепоты. Солдаты подбежали и стали выдирать из мертвых ушей жемчужные, крохотные сережки, срывать с шей нательные крестики на золотых цепочках. Анну затошнило. Она видела, как пальцы в крови судорожно толкают в карманы золото и жемчуг. «Идемте! – сказал, как отрубил, кожаный человек. – Вас взяли по ошибке». Без единой мысли в голове Анна пошла за ним. Ноги ступали деревянно, не гнулись.

Он привел ее в комнату в здании тюрьмы. Грубо раздел и изнасиловал. Анна, пока он пыхтел и сопел над нею, даже лицо не отворачивала, глядела в потолок. Ей казалось – это вагон, купэ, и она едет. Уезжает. Далеко. Навсегда.

Потом она торопливо оделась, собирая на груди в кулак разорванное кружево исподней рубахи. «Проваливай, – сказал ей кожаный, – пока я добрый».

В дверь купэ осторожно постучали. Проверка билетов. Бочком втиснулся контролер.

– Madame, monsieur, s'il vous plaît...

– Анна, не вставай. Я покажу, – жестким бессонным голосом тут же откликнулся Семен.

Муж протянул билеты. Контролер так сладок, так любезен. Дети пошевелились. Ника муркнул, как котенок. Анна так и глядела в потолок. В качающийся потолок купэ.

Дверь хлопнула. Франция. Они едут по Франции.

Анна уже была во Франции. Давно. Вместе с сестрой Тусей. В другой жизни. Ее больше нет. Где Туся? И Туси, может быть, уже нет. А Анна еще есть. И теперь Франция станет ее пристанищем. Домом? Никогда. Это Семену нужен дом. А она – поэт; какой ей дом, когда для нее дом – весь мир? И нигде дома нет. Не будет. Не построит.

А они думают – мать, жена...

«Через решетки дико тянем руки. Камни лупят по скуле стены. Мы уже не люди – только звуки. Еле слышны... вовсе не слышны...»

Так проехали всю ночь. Последняя ночь, им проводники сказали. Утром – Париж.

Так и пролежала всю ночь – с открытыми глазами.

И снег расстояний их заметал. И гудели, плакали встречные поезда; и их поезд отвечал стоном, свистом.

А утром поезд встал, грохнув, содрогнувшись всем тяжелым железным телом. Замер, огромный, уставший бежать зверь.

Анна погладила на запястье браслет – серебряную змею.

Дверь купэ отъехала. В проем всунулось поросячье-розовое умытое лицо. Бодрый, свежий голос по-русски выкрикнул:

– Восточный вокзал! Все, Париж, прибыли, господа! Подъем!

Аля вскочила, не расчесывая, стала укладывать волосы, они призрачной паутиной путались между пальцев. Ника лениво спустил ноги с полки. После сна у него опухло лицо, он стал похож на бегемотика. Русые кудри, алые губки бантиком. Не мальчик – рождественская открытка.

Семен легко, как с коня, спрыгнул с верхней полки. Его лицо – ровень с глазами Анны.

– Аня! Вставайте. Приехали!

Вот теперь у нее были закрыты глаза. Притворялась спящей.

– Анюта, – шепнул Семен и ласково потряс ее за голое плечо, высунувшееся из-под жесткого верблюжьего одеяла, – Париж...

Распахнула глаза. Обернула голову. Семен ужаснулся холоду, что тек из зеленых – две крымские забытые виноградины, – любимых глаз.

– Париж. Ну что ж. Надо вставать.

Она выбросила из-под одеяла ноги. Семен принял ее на руки, будто она прыгала наземь с балкона. С солнечной приморской веранды, увитой плющом и диким виноградом, а не с жесткой полки душного купэ. «Какая легкая, худенькая. Так легко ее держать. Так тяжело...»

Увязывали баулы. Уталкивали разбросанные по купэ вещи в сумки. Ника весело плясал на чемодане. Анна нацепила черный берет, скособочила его, нахлобучила на ухо. Мельком погляделась в круглое зеркальце – вытащила из сумки. Опять зеркальце в сумку швырнула.

Красавица! Париж оценит. Мысли текли быстрые, язвительные, жестокие.

Как жить будем? Где? Что делать будем?

Вытащили чемоданы и сумки на перрон. Из трубы паровоза валил густой черный дым, и Анна глубоко дышала чужой гарью. Еще пахло свежесдобной сдобой; еще – странно, здесь, на вокзале – молотым кофе. Она сглотнула. Есть захотелось.

Брось, Анна, не хнычь, терпи! Как мать твоя покойница говорила: «Не балуй себя едой и питьем! Чем слаще ешь – тем горше плакать будешь на Страшном Суде!».

– Вот мы и в Париже, Семушка.

Повернулась к нему всем корпусом, как в танце. Он испугался: вдруг за руку возьмет и сейчас тут, на перроне, затанцует?! Засмеялась, прочитав его мысли. Он криво улыбнулся в ответ.

Куда сейчас? А бог весть куда. У Семена адрес, он поведет их, поводырь!

На привокзальной площади взяли такси. Седой благообразный таксист помог им погрузить в авто багаж. Услышав, как супруги по-русски переговариваются, по-русски вымолвил:

– Я тоже русский. Вы откуда? Из Петербурга? Речь питерская, по выговору!

– Из Москвы, – сказала Анна, не глядя на таксиста. – А вы из Питера?

Слеза уже бежала, дрянь такая, по щеке.

– Из Питера! Я ведь генерал, друзья мои! Я – друг Юденича. Погибла Россия!

Не глядела на него – боялась разрыдаться в голос. Старик тоже плакал.

Как он хорошо сказал – не «господа», а «друзья».

– Вам куда, милые? Без денег довезу!

Семен сунул таксисту-генералу записку.

– А, улица Рувэ, девятнадцатый район! Не из роскошных местечко... Рабочие живут. Железная дорога рядом, фабрики... Бойни неподалеку... запахи, крики... ни парка, ни бульвара, где детишек-то будете выгуливать, бедные вы мои?

Правильно, бедные, жестко думала Анна, по поклаже видать.

– Мы временно там. Остановимся у знакомых, потом квартиру найдем.

– Господи, сначала работу найдите!

Автомобиль шуршал шинами по асфальту. Анна тупо, слепо молчала. Молчал и Семен. Дети щебетали как птички, прилипли личиками к стеклам, восторженно разглядывали Париж, как давнюю, невозможную новогоднюю елку в свечах и игрушках.

Когда семья вышла из такси и Семен расплатился с водителем, насильно засунув ему в руку купюру, бывший генерал широким крестом перекрестил их и прошептал:

– Помогите вам Господи, помогите.

* * *

Ярко, больно блестит на солнце сине-зеленое, веселое море.

На вкус терпко-соленое. Цветом – то как прозрачно-зеленые грозди винограда Марсанн и Русанн, то как густо-синяя, сизо-лиловая, тяжелая, будто ковкая гроздь Мурведр.

Русанн, Марсанн – женские имена звучат переборами лютни, аккордами арфы. Юг! Благословенный!

И берег-то назван в честь моря – Лазурным.

Издавна здесь именитые люди селились. Замки графы, герцоги на приморских склонах возводили. Солнце ласкает землю, целует! Боже, сколько виноградников здесь – стекают с кудрявых гор к морю, бегут, кудрявые зеленые овечки, к его плоскому синему, жестяному подносу! А на подносе – белые корабли, как белые фужеры, утлые лодчонки – крохотные рюмки; и замок Иф близ Марселя, где узники томятся, – темный, старинный коньячный бокал! Пей не хочу! Опьяней от красоты мира!

Ницца – город-сказка. Белые домики-скворечники торчат в густой зелени. На рынке крестьянки свежую макрель, морскую жирную форель за грош продают. А уж винограда – зава-

лись, и свежего, и изюма! А в праздник вина, в день святого Венсана, каких только вин виноделы на прилавки не выставляют! И гудит Ницца два, а то и три дня. И все пьют, а пьяными не бывают! Лишь усы лихо закручивают мужчины, и, пробуя вино на вкус, долго смакуют, цокают языком. И бешено кружат в танце хорошеньких крестьяночек из Санари, из Сен-Тропе, из Экса, из бухты Каро! Только вспыхивают под летящими лопастями юбок белыми, серебряными рыбами девичьи ножки. Только стучат каблуки. Правду говорят: вино – напиток богов. Хоть на миг, а люди богами становятся, вина испив.

Много русских поселилось в Ницце. Да и в Марселе тоже много. На кораблях сюда, на Лазурный берег, приплывали, обогнув землю окружным путем – иные плыли из Владивостока в Шанхай, из Шанхая в Бомбей, из Бомбея в Каир, из Каира в Марсель. Иные по старой, дворянской памяти в Ниццу жить приезжали: невыносим был гудящий, как улей, Париж, дымные улицы, многолюдье, поденная грязная работа. Юг нежной песней, виноградным сладким соком из хрустального бокала казался. А приезжали – и начиналось то же: заработок денег, борьба за каждый встающий день.

Юноша Рауль Пера случайно познакомился с семьей адмирала Милкина: увидел – стоит на рынке в жаркий солнечный день дородный старик, профиль сухой и острый, не нос – клюв орлиный, маленькие птичьи глазки пронзают людей насквозь, сразу все знают о них, – обводит взглядом лари и кульки, мешки и россыпи снеди и иных товаров. Старик пошел по торговым рядам; Рауль безотчетно пошел за ним. Стражем стал, соглядатаем.

Старик пересек полосу солнечной мостовой, отделявшей продовольствие от старинных вещей. Рауль огляделся. Сердце билось. У сердца выросли жалкие, воробьиные крылья.

Славился на все побережье антикварный рынок в Ницце! В первое воскресенье июля съезжались сюда жадные покупатели незапамятной французской старины; и не только французской – старик шел и глядел на алжирские статуэтки эбенового дерева – гнусных африканских божков, на связки индийских гранатов, то темно-алых, кровавых, то нежно-лиловых, то прозрачно-ледяных, то ярко-зеленых, ярче виноградной листвы; на мексиканские маски Кетцалькоатля, на испанские перламутровые веера, на японских бронзовых смеющихся будд, на аргентинские погремушки, сделанные из полых высушенных тыкв.

И жадней всего глядел благородный старик на медные русские подсвечники. О, даже белые свечи были воткнуты в старую, черно-зеленую медь. Замер старик. Застыл. То ли любовался, то ли плакал.

Рауль, не помня себя, шагнул вперед. Рука сама вытащила из кармана кошелек.

Вчера Рауль сдал экзамены в коллеже, и дед Рауля, итальянец из Пьемонта, по такому торжественному случаю подарил внуку бумажник, а в нем, ура, франки лежали. Рауль от радости и стыда даже не сосчитал, сколько.

– Эй, хозяин! Подсвечники почем отдашь?

Прокопченный на солнце торговец сощурился, оценивая мальчишку. Свистнул сквозь зубы.

– Пятьдесят франков! И – забирай!

Рауль раскрыл бумажник. Дрожащими пальцами пересчитал дедов подарок. Десяти франков не хватало – тут было сорок.

Он еще никогда в жизни не торговался. Побледнел от волнения.

– У меня не хватает, хозяин!

Губы дрожали от обиды. Глаза следили: старик вздрогнул. Птичьи зрачки перевел на юнца.

Антиквар протянул загорелую, крепкую руку. Рауль вынул купюры. Бумага, деньги ведь это только бумага, и не более того! Скорей, гляди, как он смотрит! Сейчас повернется, уйдет...

Рауль расплатился, схватил с лотка два подсвечника и протянул старику – и не успел: и вправду увидел его спину. Высокую, чуть сутулую спину. Спина качалась, уходила. Шевелились под мокрой рубахой лопатки. Кинулся Рауль; старика за локоть схватил.

– Позвольте, я вам... Это подарок!

Подсвечники, задыхаясь, протянул. Старик глядел недоуменно, холодно. Прокалывал Рауля зрачками.

– Что, зачем?

– Я купил это для вас! – в отчаянии крикнул Рауль.

И старик улыбнулся. И взял из рук у Рауля русские подсвечники.

* * *

Потом они пришли домой к старику. Его звали Алексей Дмитриевич Милкин, и он в России, при последнем Царе, был адмиралом Царского флота. Рауль познакомился со всем семейством адмирала – с женой, глядящей покорными оленьими глазами, с двумя дочерьми – Лилей и Ликой, с тещей-старухой – ее чудом спасли, вывезли из советского Ленинграда уже после смерти великого вождя большевиков Ленина, – с ее старой сестрой, похожей на кривую ржавую кочергу, голос скрипучий, зубов во рту нет, а душа добрая, и взгляд – ангельский.

Старая кочерга все время молилась, стоя на коленях перед киотом. Рауль впервые в жизни видел православный киот. Глядел, разинув рот, на золотые лики святых на черном, дегтярном фоне, на кроваво-алый плащ Богородицы, на пустые, тихие ладони Христа. Ладони Бога напоминали стертый манускрипт, палимпсест. Знаки, линии, морщины, записи времени: зачем они вечности? Зачем вечный, небесный Бог стал человеком?

Христос был похож на него самого, так был юн и беззащитен, и пушок над губою и на подбородке, что Рауль пугался.

Адмирал Милкин сажал Рауля с собой за стол, они обедали вместе. За креслом адмирала по старинке стоял лакей, русский мужик, адмирал смешно звал его – Гринька. Рауль вслушивался в диковинные русские слова. За обедом изъяснялись по-французски, и он все понимал, и принимал участие в беседе; а когда вставали из-за стола – тут же все по-русски говорили.

– Хочешь, буду учить тебя русскому языку? – спросила печальная жена генерала Ираида Васильевна.

Рауль согласился с восторгом.

* * *

Адмирал Милкин познакомил Рауля со всеми русскими, что поселились здесь, на Юге. Рауль побывал у всех в гостях – и у княгини Васильчиковой, у которой мужа-князя расстреляли вместе с царской родней, а она вот счастливо уцелела, и у князей Нарышкиных, Сергея и Ксении, что спасались преподаванием музыки и открыли музыкальную школу, и Ксения учила французят нотной грамоте и игре не на фортепьяно – на старом разбитом клавесине. Алексей Дмитриевич купил клавесин задешево на том же антикварном рынке, где пропадал по воскресеньям, и Нарышкиным подарил. Они очень благодарили.

Рауль делал успехи в русском языке. Он скоро узнал, что такое «спозаранку» и «охота», «самовар» и «сенокос», «икона» и «молитва», «честь» и «расстрел». А еще он узнал, как будет по-русски «виноград»: «выи-но-ггад», вот как! Он сначала грассировал и картавил, все никак не мог выговорить русское раскатистое, как гром, «эр». Рцы, важно поднимал палец адмирал, это буква рцы. Аз, буки, веди, глаголь, добро...

Рауль понимал, что такое добро. Оно щедро лилось из самодельного душа в саду адмиральского дома – Алексей Дмитриевич сделал душ из садовой лейки и очень гордился этим.

В истомно-жарком приморском августе они поехали в гости к знаменитому русскому писателю, что жил неподалеку от Ниццы, в Санари. Лика и Лиля надели белые широкополые шляпы; адмирал – свой старый, чудом сохраненный в бурях войн и революций белый с золотом китель. Наняли пролетку. Адмиральша ехать отказалась – у нее сильно болела голова.

Пролетка тряслась по дороге, девочки смеялись, показывали пальцами на бушующее море – день был огненный и ветренный, прибой рассыпался над прибрежными скалами белой бешеной пеной. «Пальцем нельзя показывать!» – гневался адмирал. Пролетка остановилась около белого особняка, в тени платана. Возница раскурил трубку. Распахнулась дверь дома, и молодая женщина, кудрявая и смуглая, с глазами-вишнями, пошла навстречу приехавшим легким шагом, будто танцуя. В руках она несла бутылку с вином и глиняную кружку.

Она подошла ближе, и Рауль увидел – нет, совсем не молодая, морщины птичьими лапками в углах глаз. И снежные нити седины в веселых кудряшках.

– Здравствуйте, дорогой Алексей Дмитрич! – пропела женщина по-русски. – Освежитесь с дороги!

– Кучеру сперва налей, Вета, – ворчливо кинул Милкин.

Сидели не в доме – на открытой веранде. Хозяйка, та, что вынесла им вина, разливала чай из пузатого медного, с клеймами, баташовского самовара. Писатель неприязненно глядел, как супруга раскладывает возле блюдец золоченые ложечки с витыми ручками. «Плохо живут, – смутно, смущенно подумал о них Рауль, – какие-то злые друг к другу они». Старая вислоухая собака медленно подошла, ткнулась мокрым носом в колено. На веранду не вошла – вбежала юная девушка, волосы рассыпаны по плечам, улыбается, и зубы блестят! Красивая дочка какая у писателя!

– Бонжур!

– Бонжур, Алиночка! К нам, к нам! Гляди-ка, кто к нам прибыл!

Рауль наблюдал, как преобразилась знаменитость. Заиграло, заискрилось, запыхало румянцем лицо, еще миг назад старое, дряблое! Рауль уже читал книжки писателя, изданные в России, до революции, и здесь, в эмигрантских парижских издательствах. Ему нравилось, как он пишет – об охоте, о собаках, о женской красоте. О слезах перед древней иконой: старик на коленях на дощатом полу сельской церквушки, а вокруг метель, снега...

Рауль никогда не видел снега.

– О, бонжур, Алексей Дмитрич... девочки! А это...

– Месье Пера, наш большой друг! Благородный юноша! Генеалогическое древо его уходит в глубь истории Ниццы, Тулона и Пьемонта! Глядите, профиль – вылитый кондотьер, ма пароль!

Густоволосая, что твоя русалка, загорелая девочка присела в реверансе. Ямочки на щеках. Хохочет беззвучно. Руку протянула беззастенчиво.

– Алина!

– Рауль, – и ручку пожал, боясь раздавить, причинить боль, такая хрупкая ручка, фарфоровая.

– У вас пгелестная дочь! – сказал по-русски, невероятно грассируя.

Писатель побледнел. Жена уткнула длинный нос в чайную чашу. Поправила растерянно седые кудри.

– Это не дочь, – сказал писатель, любовным взглядом обнимая все юное, трепещущее, жадно дышащее солнечное тело. – Это Алина.

– Это его любовь, – сказала жена Вета полным слез голосом, отодвинула от себя чашку, расплескала чай, встала, уронила плетеный стул и вышла вон с веранды в солнце, в марево, в факельный жар полудня.

– Что же ты, Петр Алексеич, что ты, ну...

– Я? Ничего. – Писатель улыбнулся – будто нож прорезал жаркий полумрак веранды. – Все правда! Я без нее жить не могу! В ней – вся жизнь, что осталась!

Обнял Алину за плечи. Девочка запрокинула голову. Коснулась затылком старой мужской руки. Рауль не знал, куда девать руки, глаза. Адмирал разлил всем в бокалы красного вина из оплетенной сухими прутьями пузатой бутылки.

– Выпьем за счастье, Петя, – тихо сказал.

– За Россию выпьем! – сумасшедше сверкнув желтыми, в алых нездоровых прожилках, белками старых глаз, крикнул писатель.

После обеда прилегли отдохнуть. Раулю постелили на веранде. Петр Алексеевич и Вета разбрелись по комнатам: он – в спальню, она – в другую. Порознь спят; по-кошачьи друг на друга фыркают... а где же Алина? Почему-то представил ее на берегу моря, с букетом ярко-алых азалий в тонких смуглых руках.

Дверь скрипнула, и Рауль вздрогнул, приподняв отяжелевшую от прованского вина голову с полосатой подушки. Привскочил на диване, сел, смущенный: вошла Алина. Кровь бросилась в голову: а если обнимет, поцелует? Жизнь была из девчонки марсельским площадным фонтаном – до неба! Села на краешек дивана. Бедром коснулась ноги юноши. Лицо Рауля пылало малиново.

– Да вы не бойтесь меня, – хихикнула, кончик язычка сквозь зубки показала. – Я... вас не обижу!

Захохотала беззвучно, закидывая голову, как давеча в гостиной.

– Я хочу попросить вас... – Взяла в пальцы густые, пшеничные волосы, сунула концы прядей в рот. Глазенки расчерчивали, разрезали вкривь и вкось красное лицо Рауля. – Вы будете моим душеприказчиком!

Рауль онемел от ужаса и смеха.

– Но вы же такая молодая!

– Я умру, как все! – И опять хохотать, теперь уж музыкально: в голос.

– Тише, мадемуазель... хозяев разбудите...

Алина приблизила лицо к его лицу. Они вдвоем были похожи на детишек, строящих на берегу рыцарский замок из сырого песка.

– И разбужу. И что? Да не спят они. Вета меня ненавидит, а Петруша ждет, что я к нему в спальню приду. А я – не приду! Я – свободна! Что хочу, то и делаю!

– А что я...

Алина поняла. Ее губы коснулись его алого уха. Шептала быстро, взалхлеб:

– Я тоже пишу. Стихи! И рассказы! И – дневник веду! Господи, какой же хороший дневник! Мне будет жалко, если я вдруг умру, а все это добро пропадет! У меня в комнате сундук. Там мои бумаги! Я напишу... завещанье... на вас!

Рауль глядел в юное, смуглое, румяное, веселое лицо – и ничего не понимал. Голова кружилась. «Шутит девчонка...»

– И у нотариуса заверю! Дайте мне ваш адрес, чтобы я могла вам бумагу прислать!

Рауль, вытаскивая из кармана визитку, опять коснулся ногой ее ноги, и новая волна краски накатила, застлала глаза. Алина цапнула визитку, как кошка.

– А, в Ницце живете! Рядом! Так я и думала!

Обняла за шею. Быстро жгуче поцеловала в щеку. Побежала к двери.

Куколка. Милая нежная куколка. Ручки тряпичные, гибкие. Губки сердечком.

Остановилась. Подумала секунду. Подбежала опять к дивану, нагнулась – и поцеловала мальчика в губы.

И тогда уж выбежала совсем.

* * *

Когда адмирал с семейством и Рауль уезжали восвояси, Рауль, сидя в пролетке, крепко прижимал к животу маленький сундучок. В сундучке лежали рукописи Алины Красновой. Молодая, а столько уже написала. Он завидовал. А сколько еще напишет! Зачем она отдала ему бумаги? Чтобы Вета не прочитала, как Алина любит ее мужа? А может, она и правда скоро умрет? Господи, спаси взбалмошную девочку: от болезни, безвременной смерти и от греха. Пролетка катила. Терпко, остро пахло хвоей прованской длинноиглой сосны: будто дамскими пряными, восточными духами. Доносился грохот прибоя. Лика и Лиля дулись друг на друга. Адмирал вытирал лоб батистовым платком. Жара стояла в Ницце в этом году.

Глава вторая

Семья Лидии Чекрыгиной переселилась в Париж сразу после революции. Перешла из России во Францию, как по воздуху, по облакам. Да нет: по кровавой земле. Лидия вспомнить не могла, как ехали, шли, брели, голодали; ревели в три ручья; как сынка, сосунка, в Галлиполи, в лагере для беженцев – на пустыре хоронили. Лидин муж умер, и она осталась одна с тремя детьми, девочками: Анастасией, Евдокией и Ариадной. Ася, Дуся и Адя, слава Богу, послушными были: матери не досаждали, наоборот, помогали – глядели друг за другом. Старшая, Ася, рано научилась готовить; младшая, Адя, талантлива на стихи и песни оказалась – сама сочиняла, пела сестренкам. Так и росли, так и жили: щебетали, майские соловушки, в чердачных хоромах, в скворечнике парижской нищеты. Лидия нанималась на поденные работы: мыла полы и окна в домах богатых парижан.

Ту же работу и Анне предложила поискать.

– Аннинька, ты не тушуйся! Париж – он такой, жестокий! И не стесняйся ничего. Все благородные замашки забудь! В России, далеко, они остались... – Кривила лицо, чтоб не заплакать. – Хочешь, я богатеев своих поспрашиваю, работу тебе найду?

Анна робко смотрела на мужа. Семен отворачивался к окну, дымил папиросой. Анна видела: похудел, пожелтел. Целыми днями бегаёт по городу, рыщет, ищет, как собака ищет кость. Не везет ему. Нигде – ничего. Пока Лидия кормит их всех: запасы овсянки есть, на хлеб и чай с сахаром Лида зарабатывает. Сыр, вино? Давно забыли вкус. Мясо на рынке, Halles, покупают по праздникам. «В прошлую Пасху, – Лида вздыхает, – куличи пекли, яйца красили! А в эту – не знаю, что будет!» Анна смеялась: кулич из овсянки испечем!

– Хочу, – Анна кивала. – Найди!

И Лидия однажды вернулась домой веселая, хоть черные круги под глазами углем печным горели: нашла, нашла тебе работу, и прехорошую! Много обещают платить! Богачка такая – у-у! Знаменитость!

Анна приоделась, к одному-единственному темному платью прицепила другой воротничок, беленький, парадный, кружевной, влезла в единственные на каблуках туфли и пошла по адресу.

Разыскала особняк на набережной Сены. Рядом – мост, и на колоннах – позеленелые от старости, вздыбленные кони, крылатые. Три коня медно-зеленые, а один – резко обернулась – золотой! Рабочие позолотили, начистили. Кто бы позолотил ее нищую, черную жизнь?

Долго дергала за витой шнурок звонка. Услыхала шаги: кто-то сбегал по лестнице. Залязгал замок.

– Что нужно?

Горничная глядела неприветливо, мрачно, исподлобья. Анна бессознательно заправила за ухо прядь, висящую вдоль щеки. Уняла дрожь губ.

«Даже и без bonjour. Побирושкой сочла».

– Я от Чекрыгиной. На работу по найму. Могу делать грязную работу. Поломойка. Судомойка. Чекрыгина сказала – вам нужно.

Горничная хмыкнула, впустила Анну. Анна поднималась вверх по мраморной, сахарно-белой блестящей лестнице – и чуть не упала, зацепилась каблуком за ступеньку. Коридоры, двери, еще коридор, мягкий ковер под ногами. Везде ковры. И пахнет хорошо: духами, кофеем, круассанами свежими и почему-то собаками, псиной, но не противно, а весело.

Снопы света ударили из широко распахнутых дверей. Анна вошла в эти двери, подумала: «Золотые ворота! Царские врата – как в церкви...». В широкой, как море, гостинной пол застлан узорчатым ковром. На ковре сидела в коротком, прозрачном платье – нагло, неприлично видны груди и живот, темная перевернутая пирамидка волос внизу живота – уже немолодая, но еще

красивая простоволосая женщина, в теле, чуть грузная; глаза ее искрились, рядом ползали два ребенка – мальчик и девочка – и лежали, как два сфинкса, два больших, бархатных мышастых дога; дети и собаки катались по ковру, хохотали, и женщина хохотала вместе с ними.

– К вам, мадам! – кинула угрюмая горничная и ускользнула.

Женщина тяжело, сначала смешно встав на четвереньки, как собака, приподняв увесистый зад, поднялась с пола. Анна отворачивала голову, не могла смотреть на просвечивающее сквозь нежно-оранжевый газ голое тело. Ни корсета, ни панталон, ни чулок на даме не было. Лишь кусок прозрачной ткани. Дама сделала шаг к Анне, и будто светлая музыка зазвучала. Анна уже не могла от нее глаз оторвать. Она двигалась нежно и плавно, и руки пели, и колени смеялись.

Дама поймала восхищенье и отвращенье в глазах Анны. Закусила губу.

– Поломойка мне нужна, – насмешливо сказала.

– Сколько будете платить?

– Не пожалеете. Не обижу.

– Но у вас же везде ковры!

– Вы не умеете справляться с ковровой пылью? Тогда вы мне не нужны!

Колени Анны подкосились. Выдавила, улыбаясь вежливо:

– Умею. Я много чего умею. И – с детьми возиться!

– У меня есть нянька. – Глаза надменной полуголой дамы подобрели, она погладила подол своей странной, античной туники. – Но если вы пожелаете их развлечь – пожалуйста! Вы русская? У вас отличный французский! Что так смотрите? Наряд не нравится? Я танцовщица! По миру гастролирую! Мое имя – Ифигения Дурбин! Слышали? Недавно вот в Америке была! Чушь эта Америка! – Она выругалась. – Merde!

Анна застыла. Не могла опомниться. Она читала об этой даме в газетах, хоть газеты ненавидела; читала, чтобы знать, когда война начнется – все и в Праге, и в Париже бесконечно болтали про войну. Вот как – поломойка у самой Дурбин! Семен расхохочется. Она-то думала, Дурбин в Лондоне живет, а она, на-ка тебе, парижанка!

– Тряпки, ведра и щетки вам Лизетт даст. Лизетт, что вам дверь открыла!

Анна пошла к двери. Острые каблуки старых московских туфель – их подарил ей в голодной, холодной Москве старик князь Волконский, обожавший ее стихи, – тонули в мощном ворсе ковра. Былое погибло. Она похоронила свое время. Князь сидел в кресле, как больной орел, а Анна приходила, варила ему кашу и кормила его с ложечки. Как ребенка. О да, она умеет с детьми. И со стариками. И со зверями.

Князь Волконский все равно умер. От голода. Когда у Анны закончилась крупа. Она пришла однажды, прибрела по метельной улице, неся под незастегнутым пальто укутанную в дырявую шаль кастрюлю с кашей, а он сидит в кресле уже каменный, ледяной. Памятник самому себе. Легко умер – на лице ни следа последней борьбы, страха.

Она похоронила князя. Вместе с Андрюшей Быковским. Он тогда еще не уехал в Берлин.

Они везли мертвого князя на кладбище на двух связанных детских салазках.

Собаки нюхали Аннины ноги. Роняли слюну на ее единственные фильдеперсовы чулки.

– Эй, как вас зовут? – крикнула Ифигения ей в спину.

– Анна Царева, – сказала Анна, не оборачиваясь, и голос ударился о массивную дверь с вычурной лепниной и отлетел мертвым эхом.

* * *

Так стала Анна работницей у мадам Дурбин.

Ирландка Дурбин давно уже объехала полсвета и жила там, где захочется, подолгу – в экзотических странах: в Японии, в Индии, в Мексике. У нее было три дома – дом в род-

ном Глазго, дом в Риме, она любила Вечный город, и особняк в Париже. Знаменита Дурбин была тем, что первая освободила балерин от пачки и от пуантов – стала танцевать в просторных греческих одеждах, имитировать античные танцы, вставать на всю стопу. Это казалось вопиюще грубым, жутким. Первые выступления Ифигении освистали, ее самое забросали тухлыми яйцами. Дурбин проплакала всю ночь, а наутро позвонила импресарио: «Жюль, сделайте мой вечер! Через неделю! Послезавтра! Завтра!». Она вышла на сцену Бурбонского дворца в немыслимо короткой тунике, ее широкие грузные бедра и свисающие двумя тяжелыми дынями груди были у всех на виду. Дурбин поздно начала танцевать, и детей родила поздно – от пятого мужа, красавца-американца, актера киностудии «Парамаунт», понимая: сейчас или никогда. Детки получились превосходные, ангелочки щекастые, умники. Ангел-мальчик и ангел-девочка. Когда рожала – орала так, что слышал весь квартал.

Развелась с пятым мужем, вышла замуж за шестого, за седьмого – все неудачно: шестой ограбил ее сейф и удрал на Кубу, седьмой, французский поэт, ночи напролет проводил в пьянках, обошел все парижские ночные клубы, дебоширил, изменял. Когда Ифигения шало, нагло, назло изменила поэту с продюсером, поэт застрелился из «смит-и-вессона» на берегу Сены. Тело нашли в реке у пристани, где всегда причаливали голландские барки, в серый, зеленоглазый, туманный день. Револьвер – на парашюте набережной. Отпевали самоубийцу в монастыре Сен-Дени – Дурбин не сказала кюре, что поэт выстрелил в себя, наврала – утонул на рыбалке. Далеко разносился гул мрачных, басовых колоколов.

Роста Дурбин была высокого, и телеса у ней богатые были, и она их не стеснялась. На ее туалеты заглядывался весь Париж. После того, как ее ограбили, она сделала турнэ по белу свету – и заработала столько, сколько не снилось ни одному артисту «Grande Opera».

Белоручка, она никогда не делала по дому ничего; стряпня и уборка – фи, как это пошло! Она лишь любила купать детей. Раздевала их, тетешкала, окунала в теплую воду. Дети визжали. Голубая вода солнечно колыхалась в лохани. Ифигения была счастлива.

О да, она всегда была счастлива! Даже когда ревела ревмя, ограбленная. Даже когда стояла навтыжку, как императорский солдат, над гробом седьмого мужа.

Эта женщина? Анна, как ее там, За-рьов? Русская эта? Руки жилистые, сильные. Пусть чистит ковры и моет полы. Ей со служанкой говорить не о чем.

* * *

Анна старалась. У нее получалось. Ковры дышали влагой и чистотой. Полы блестели. Мраморная лестница сверкала чище брильянта. Иногда Анна видела, как репетирует Ифигения: украдкой заглядывала в просторную студию, где танцевала хозяйка.

Пируэт. Пируэт. Еще антраша. А это, какое красивое па! Будто птица летит! Гранд-батман.

Весь день у мадам Дурбин, а вечер на улице Рувэ. Там дети и здесь дети. Спасибо Лиде, накормит-напоит. Чем дальше течет безжалостное время – тем стыдней, неудобней. Лидия ей не нянька! Семен иной раз оставался дома. Он все не мог найти работу, и они жили на Аннины деньги.

Дети вечером – уложить спать, капризного Нику успокоить, улестить, усыпить длинной, как пряжа, сказкой. Сказку рассказывает Анна, а глаза слипаются, языком кружева плетет. Александра давно уже спит, сопит. На цыпочках пробраться в другую каморку. Семен не спит, глядит в потолок. А ее морит, убивает сон. Ложится рядом. Какая тут любовь! Нет объятий – их съела работа. Поцелуи нищета сожрала. Лежат рядом, вытянувшись, и каждый делает вид, что спит. По крыше стучат капли дождя. Это стучит время. Бом-бом, цок-цок. Каблучки неба. Небо ходит на каблучках дождя.

Встает тихо, чтоб не скрипнули ржавые пружины. Крадучись, идет к столу. Садится. Бумаги предательски шуршат. Громко скрипит перо. Господи, помоги мне написать эти слова. Господи, не отними у меня дар мой.

Анна так и уснула – за столом, уронив лоб в сгиб руки. Перо выпало, черные брызги выпачкали десь бумаги.

Утром Семен встал, аккуратно собрал со стола горсть окурков. Анна курила только папиросы. Здесь, в Париже, покупала самые дешевые. Семен слышал, как она ночью кашляла – хрипло, влажно. Туберкулез в семье Царевых – наследственная болезнь. От нее умерли сестры Анны – Виктория и Евгения, еще в детстве. А она так много курит. Аннет, ma chérie, ma petite, что ж ты делаешь с собою.

* * *

Старая княгиня Маргарита Тарковская приехала из Парижа в Ниццу отдохнуть, поглядеть на море. Подышать солью, йодом. Посидеть на берегу в плетеном кресле. Помечтать о будущем, которого не будет, и поплакать о невозвратном.

Рауль так и увидел старуху-княгиню – кресло около самой воды, прибой, шурша, подползает к ногам, обутым по последней парижской моде: поглядишь – не поверишь, что этой стройной ножке под девяносто. А лицо все в мелких морщинах, будто сетку набросили на щеки, сачок для ловли бабочек с крупной ячейей. Милая старая бабочка-траурница, поймало время тебя! Теплый морской бриз поймал.

Юноша осторожно подошел ближе. В башмаки набрался песок.

В песок воткнул белый кружевной зонт. Голова старухи в тени, солнечного удара не будет. Порыв ветра уронил зонт на песок, кресло пошатнулось. Старуха беспомощно оглянулась, зимняя птица.

Рауль бросился, поднял зонт, опять в песок воткнул.

– Вам не жарко? – спросил по-французски.

– Ах ты господи, – сказала старуха по-русски и отдула прядь белых волос с пергаментной щеки. – Мерси боку, мальчик мой! – по-французски бросила.

Рауль сделал еще шаг вперед, чувствуя, как весь дрожит.

– Вы русская? – уже по-русски спросил.

Княгиня Тарковская голову поднимала медленно – так медленно поднимают парус на рыбацкой шхуне.

– Я-то? Да, русская! Княгиня я! Маргарита Федоровна. А вы, молодой человек, тоже из эмигрантов? Здешний? Из Парижа?

На морщинистой коричневой груди блестели под солнцем гранатовые бусы. На высохшем птичьим пальцем горел древний, должно быть, фамильный брильянт. И не боится она сидеть тут так одна?

– Я? – Рауль дернул горлом. – Я француз. Здесь живу.

– О, вы француз! Ваш русский великолепен!

Разговорились. Рауль сел у ног княгини на холодеющий песок. Вертел в пальцах круглую, как камеш, ракушку. Княгиня расспрашивала его обо всем: где учиться, что любит, кто родители, о чем мечтает. Видно было – ей хотелось поболтать.

– Почему вы сидите тут одна? – смущенно спросил юноша.

– Я? А, да, я... Привезли, посадили и укатили! – Старуха сердито вздернула подбородок. – Через три часа придут, погрузят в авто, как вещь... и повезут... на дачу... Глядите-ка, мон шер, – сменила внезапно тему, – я ведь эти бусики сама сделала! – Цапнула сухой лапкой мелкие гранатики на шее. – И эту вот шляпку – сама! – Повертела головой, шляпка качнулась, появая белая лилия. – А этот образок мне знаете кто написал? – вытащила острыми коготоч-

ками из-под бус образок святителя Николая на грубой бечевке. – Сам господин Ругин намалевал, будто б истинный богомаз, даром что портретист, прости Господи!

Рауль глядел на образок, он самоцветно пылал в иссохших пальцах старухи; белая борода святителя метелью таяла, улетаала, темное золото нимба вспыхивало тревожно.

– Юноша! Вам надо учиться в Париже, – сказала княгиня, как если б то было дело решенное. – Вы одарены! Вы – от Бога! У вас такой блеск в глазах.

Море било, било в песчаный берег рядом с ними. Длинный соленый язык прибоя докачивался до старухино кресла. Княгиня чуть повыше подпернула юбку.

– У моего отца денег нет на мою учебу в столице.

Губы сохли, глаза влажнели.

– Я помогу вам! Вы должны учиться в Париже! Вы должны увидеть свет! Деньги! Что деньги? Прах, тлен! Пыль! У меня много денег, и я скоро умру! Я на деньги свои в России музей собрала! Училище искусств открыла! Церковь выстроила! Больницу в вотчине своей, для крестьян! Какая жизнь была! Все разрушили. – Старуха медленно, как во сне, перекрестилась. Остро, орлино глянула на Рауля. – У меня хватит денег, чтобы выучить в Париже такого хорошего мальчика, как вы... как ты! – вдруг высоко, по-птичьи, крикнула она.

Рауль стоял, оглушенный. По щекам старухи слезы катились, крупные горошины, светлые гранатины. Сгорбленная спина тряслась в рыданиях.

– У меня... сына убили! У меня мог быть... такой внук...

Рауль бросился к ее ногам. Схватил старую холодную, даже на жаре, сморщенную руку и припал к ней губами.

* * *

Отец снарядил Рауля в Марсель – за покупками; список покупок тщательно составлен, и франки тщательно отсчитаны и еще пересчитаны пару-тройку раз. Прибыв в Марсель, Рауль, прежде чем побежать по рынкам и магазинам, решил пойти в порт, поглазеть на корабли. Белые большие океанские лебеди тревожили сердце, заставляли думать о том, чего не будет никогда. Или все же будет? Дальние страны, изумрудные моря, ручные обезьянки, плод дуриана в руках... Говорят, он вонючий, а начнешь ложкой черпать мякоть и есть – вкусней не придумать лакомства.

Порт, и корабли, и красивые девушки рядом идут, мимо. Он старался не смотреть на девушек. Взрослел, и густеющий пушок покрывал смугло-розовые щеки, и голос ломался, и томно, и стыдно было. Казалось: все девушки хохочут над ним. Запах моря волновал. Соль, и водоросли, и терпкий перечный йод. Йод, кровь земли. Какого цвета Японское море? А Бенгальский залив? А Берингов пролив? Около Марселя море дикой, дерзкой, густейшей синевы. Поглядишь вниз с пирса – голова закружится, будто «Сен-Жозефа» глотнул.

Пришвартовался огромный пароход, белоснежный. «Из Нового Света!» – весело кричали портовые мальчишки. Махали в воздухе свежими газетами, раковинами-рапанами, самодельными бусами из мелких ракушек: купите, купите! На берег по трапу сходили пассажиры. О, долго же плыли они из Америки!

Рауль глядел во все глаза на вновь прибывших. Пестрая толпа! Кого тут только нет! Все цвета кожи. Вон идут две желтые узкоглазые китайки в смешных серых широких штанах. Важные господа спускаются по трапу, ни на кого не глядят, смотрят вверх голов, в такую-то жару – во фраках и манишках; верно, миллионеры! Жен под ручку держат. Сами старые, а жены молодые. Вон чернокожие, о, много их! Прибыло полку негров марсельских! В Марселе целые кварталы – негритянские; какие красивые мулатки по городу ходят, шоколадки! Рауль сглотнул слюну. Не думать о девушках!

Взглядом выцепил из толпы сходящих на берег странную пару. Глядел неотрывно.

Таких людей не видел никогда.

Она – кожа цвета кофе с молоком, роста небольшого, грудь высокая, а талия тонкая, как у стрекозы брюшко. Платье сумасшедшее: на плечах наверхены буфы – бабочкины крылья, грудь декольте, лиф весь полосатый – полоса алая, полоса желтая, полоса дико-синяя, полоса слепяще-зеленая! – а ниже юбка – атлас блестит, и тоже полосами, и в глазах рябит, мелькает – красные молнии, черные тучи, свежая зелень, куда там павлиньему хвосту! Юбка спереди короче, сзади длиннее. Руки голые по локоть. Высокая, как башня, шея обверчена ожерельем из крупных... топ Dieu, булыжников! Глаза плеснули в Рауля – смолой обожгли! Ступает, будто танцует. Так ходят заморские огромные птицы марабу, живущие в пустыне! А волосы, ну и волосы! Иссиня-черные, вороново крыло, уголь и деготь!

Он – ухочоцешься: рядом с ней – толстый, кургузый мешок! Брюки – брюхо еле вмещают. Ворот рубахи расстегнут, в зарослях волос на груди крестик проблескивает нательный. Губошлеп, нос картошкой, подбородок – репой, уши – две морковки: рожа как для салата!

А за ними – слуги, должно быть, чемоданы несут. Знатная же у парочки поклажа!

Уродец обернул лицо к красавице и сказал что-то – едко, рассерженно. До уха Рауля донесся обрывок фразы:

– ...короткую стрижку!

Говорили по-испански, и Рауль понял эти слова.

Сразу за странной парой, за красавицей и чудовищем, на берег сходила еще одна пара, прибывшая на пароходе «Британик» трансокеанским рейсом через Атлантику из Нью-Йорка в Марсель.

Рауль, провожавший взглядом женщину-павлина, не обратил на них внимания.

* * *

Игорь Конев и Ольга Хахульская сходили по трапу на марсельскую пристань. Игорь крепко держал Ольгу за руку. В другой руке держал чемодан. Все их имущество теперь – один чемодан. Все его имущество теперь – одна Ольга.

Он красавчик, она балеринка. Оба еще вчера – знаменитые тангерос в Буэнос-Айресе и не менее славные карточные шулеры. В Буэнос-Айресе они держали полусветские, полубандитские салоны, где собирались по ночам картежники всех сословий и мастей – и играли, играли до одури. Табачный дым; мелодии танго, рвущие душу. Сеньорита Хахульская окончила когда-то Императорское хореографическое училище в Санкт-Петербурге. Ей прочили славу Анны Павловой. Революция забросала камнями, вывернутыми из мостовой, огни ее волшебной рампы. Ее воздушные балетные пачки сожгли на кровавых свалках, над расстрельными рвами.

Игорь подобрал рыдающую Ольгу на пароходе, уходившем из Питера – на Запад. Она сидела на дорожном, туго увязанном узелке: там лежала старая мамина шаль, детское Ольгино одеяло, две книги по искусству танца, кружка и ложка. Он присел на палубу рядом с плачущей девочкой, приобнял ее за плечо и тихо сказал: «Хочешь, будем вместе горе мы терпеть?». Ольга кивнула – ей все равно. А рука незнакомого мужчины такая теплая, крепкая.

За плечами Игоря Конева – два курса Московского университета. Отец-профессор хотел, чтобы он стал историком – как Грановский, Ключевский, Соловьев. Игорь потянул ляжку два года – и плюнул на гранит науки, сбежал от профессоров. Окунулся в жизнь богемы: стихи писал, на гитаре играть научился, морды обидчикам в кровь бить! Отец, Илья Игнатьевич, плакал,пил сердечные капли, раньше срока ушел на тот свет. Матушка Игорева давно умерла: рос сиротой.

На одной из богемных вечеринок девушку увидел: в глухом, под горло, мышинном сером платье, с армейской кожаной сумкой через плечо, вышла на середину комнаты, в круг света от оранжевого абажура, и так стала читать стихи – умопомраченье!

Помнил тугой, жесткий ритм стиха. Вроде как вальс, и в то же время – суровый, рубленый марш. Вроде и женственный, гибкий танец, да отчего же так звенит пожарищный колокол, лютый набат?

Эх, жаль, не спросил имя девицы; стихи прочитала, и в круг света под абажуром другие поэты полезли. Всем хочется выпялиться, вылезти. Слово свое сказать. Торопятся, будто вокруг глухие, никто не услышит!

Потом Игоря просили играть на гитаре. Он играл. Особенно ему удавались струнные переборы. Играл – и пел, приятным, теплым тенорком: «Белой акации гроздь душистые так аромата полны!». Аплодировали. Целовал девицам и дамам ручки. Одна дама, вот ее имя он запомнил, Эльвира Михайло-Михайловская, застрелилась из-за него. Модно тогда было стреляться, до революции. Смерть обожествляли. Поэты в честь ранней смерти стихи слагали.

А как пошла она, смертушка, косою махать направо-налево – все сразу неистово жить захотели.

Революция застала Игоря в Петрограде. Вместе со всеми шел под красными знаменами Февраля, на грудь красную атласную гвоздику прицепил: «Да здравствует Временное правительство!». Недолго музыка играла. Когда на излете октября стали всех стрелять, всех без разбору к стенке ставить, и голод начался такой, что мама не горюй, – понял: удирать надо тебе, сирота ты казанская, князь ты Игорь отшумевших вольных пирушек.

И вот плывут они на пароходе через океан, и плачет чужая девчонка у него на плече. Ох ты, чересчур уж худая! Да нынче все худые, все недоедают: немудрено отоцать. Игорь запасся провизией: в его чемодане нашлись и сухари, и кусок сала, и даже, с ума сойти, копченая колбаска от Елисеева! «Друзья снабдили. Ешь!» – хмурился он на безмолвный Ольгин вопрос. Смолчал, что любовница последняя, питерская кафешантанная певичка Роза Киссель, заботливо засунула, свертки слезами облила.

Любили его женщины, что греха таить. Любили, а он их – не любил.

Пользовался ими, весело и жестоко.

Жестокое время, веселое. Военное.

Все время, всегда шла война, и они с Ольгой – на войне: солдаты, разведчики, стрелять в людей научились огнями хищных, хитрых глаз. Пароход прибыл в Лондон. Ольга стояла в лондонском порту, размазывала слезы по щекам и кричала Игорю в лицо: «Я больше никуда не поеду! Никуда!». На них оглядывались. Он крепко взял ее за локоть, и она замолчала.

У него еще оставались деньги. Ночью на пароходе не спал, руку к боку прижимал, стерег за пазухой плотно набитый бумажник. Купил себе и Ольге два билета до Буэнос-Айреса. В третий класс. Самые дешевые.

«Нам надо укатить подальше. Как можно дальше. Чтобы не нашли. И – чтобы не вернуться больше. Никогда».

Буэнос-Айрес обрушился на их головы пьяным водопадом. Все вперемешку – нищета и роскошь, море и звезды, голодную косточку глотать – и шампанское в узком бокале ко рту подносить. Бич времени больно хлестал. Надо было успеть! Ольга сказала Игорю: я умею танцевать, я могу зарабатывать танцем! Что ты умеешь-то, кисейная ты балетная барышня, захотел Игорь обидно, тридцать два фуэте?! Он думал – она заплачет. Нет! Засмеялась! Встала перед ним во весь рост. Гибкая, тонкая. Виноградная лоза.

«К черту балет! Я буду танцевать танго!»

Танго, о, постыдное, дымное, пьяное, еще недавно запрещенное танго. Танец для портовых рабочих; для отбросов; для грязного пролетариата. Это после полонеза, после мазурок-то!

После туров вальса на балах в Смольном! Танго, более дерзкое, чем любовь напоказ; чем любовь втроем.

Ольга уже видела, как танго танцуют. В портовых кабачках Буэнос-Айреса сидела, пожирала глазами тангерос, нервно, жадно курила длинные дамские папиросы. Игорь выбивал щелчком папиросу у нее из пальцев. Папироса летела в недопитый стакан. Ольга брезгливо вытаскивала из стакана мокрую папиросу, омочив пальцы в вине, и бросала в лицо Игорю. И Игорь смеялся.

Он часто смеялся. Даже когда надо плакать – смеялся.

Давай станем двое тангерос, сказала Ольга однажды, когда они прокутили в таверне «Три матроса» последние песо, наблюдая, как резко, вот-вот хребет переломит, отгибает назад девочку с нагло декольтированной спиной дюжий парень с наколками на мощных руках – может, грузчик, а может, портовый бандит. «Платье черное, спина белая, вырез сделаю, как у нее!» Игорь внимательно следил за танцующей парочкой. Что ж, это мысль, холодно кивнул.

Сказано – сделано. Ольга стала брать уроки танго. Наняла старую креолку, Хуану Флорес. Креолка в свое время слыла лучшей «ночной бабочкой» Ла-Платы. Красиво, страстно пела – хриплым, за сердце хватающим низким голосом. Танго владела в совершенстве: и танго милонгеро, и танго лисо, и танго орийеро. «Прежде чем танго танцевать, тебе надо научиться танцевать хабанеру, детка! Потом – уругвайскую милонгеру! А потом, потом уже танго!»

Ольга беспрекословно слушалась сеньору Флорес.

Через два месяца она танцевала танго лучше самих Чилиты Санчес и Хосе Фиерро.

Ее первым партнером стал тот самый крепкий парень с татуировкой на запястьях, что танцевал в продымленном кабачке: Хуана сама навязала его Ольге. После первого танго, когда лицо прижималось к лицу, а Ольгина нога закидывалась высоко на бедро тангеро, парень, возбужденный, хрипло дышащий ей в лицо перегаром текилы и ямайским табаком, уволок ее в сарай рядом с домиком Хуаны. После ночи в сарае Ольга пришла к Игорю другой женщиной. Он не спросил ее, где она была. Она сама сказала.

«Ты меня бросишь?»

Он насмешливо, галантно встал на колени и поцеловал ее бледную, узкую руку.

«Никогда».

Прекрасно понимал: друг без друга им пропасть.

Игорь уплатил сеньоре Флорес сполна – и даже сверх договоренной суммы: искусство танго того стоило. Флорес научила Ольгу, а Ольга обучила Игоря.

Еще через месяц они выступили с камерным оркестром «Розамунда» на сцене буэнос-айресского театра «Колон». Аренду зала опять оплатил Игорь. Он не говорил Ольге, где добывал деньги. Она и не спрашивала.

Зачем говорить о неприличном, о страшном? Аргентинцы молчаливый народ. Есть чему поучиться.

Выступление молодых тангерос произвело фурор. Выяснилось, что оба иностранцы – прекрасно говорят по-французски, и ни слова по-испански! Впрочем, на уличном испанском оба давно говорили, плохо, коряво, но бойко. Жизнь заставляла.

«Молчи, что мы из России. Говори – из Чехии!»

Ольга врала, улыбаясь.

У них брали интервью. К ним набивались в ученики. Игорь снял зал для уроков танго – с зеркалами во всю стену, с гладким, цвета меда, навощенным паркетом. Сам покупал Ольге танго-туфли – на высоком, как спица, каблуке, с узкой, как змея, подошвой.

Танцуйте, куколки, танцуйте. Ах, милые, так хорошо, умело дергают вас за веревки! За тонкие нитки! За лески! Натанцуетесь – ночью на гвоздях висите устало, понуро. Смуглые щеки, карминные губы. Ручки и ножки ватой набиты. И железное тело, костяное.

Ученики прибывали. Деньги потекли. Их самих приглашали выступать – на интимных милонгах, в блестящих концертных залах. Они не гнушались ничем: ни танго в борделе, если бандерша за танго-вечер отваливала щедрую плату, ни танцем в портовом баре – злачные места были для них родными, отсюда они начали свой аргентинский путь.

Сняли домик побольше, и даже с прислугой. Ольга обновила гардероб. Питались хорошо – уже не вчерашним хлебом с селедкой и бледным кофе на завтрак: на стол подавались трепанги, лобстеры, ананасы, ветчина, дорогая икра. Когда ели – друг на друга не глядели. Жизни текли вместе, но розно.

У Игоря были любовницы. У Ольги – любовники.

Если на них находило – безумствовали ночь напролет.

А потом месяцами спали в широкой, как танго-паркет, постели, отвернувшись друг от друга.

Ольга звалась в Буэнос-Айресе – Долорес де лос Анхелес.

Игорь – Франсиско Лусифер.

Ангел и демон. Лед и огонь. Ложь и правда.

Не отличишь.

* * *

А теперь они, крепко держась за руки, сходили по трапу на землю Франции.

Зачем они прибыли в Европу? Зачем Ольга взахлеб плакала, стоя на коленях перед Игорем, в их белоснежной, отделанной мрамором гостиной, в виду застланной свежевывглаженной скатертью столешницы – блеск тарелок, звон бокалов, серебро вилок-ложек, лучшее чилийское и аргентинское вино в темных узкогорлых бутылках, – умоляла: вернемся, вернемся, не могу больше! Он дрожал бровями. Молчал. Мрачнел. Выдохнул: «Вернемся. Не в Россию. В Европу. В России делать нечего. Там Сталин. Тебя убьют сразу, как сойдешь на пристань».

Ольга уткнула лоб ему в колени. И сидели: памятник горю.

Дом пока продавать не стали. Ключ от дома оставили сеньоре Флорес. Она махала руками: детки, не сторож я дому вашему, я скоро умру! «У нас тут никого нет роднее вас», – отрезал Игорь.

Трап пружинил под ногами. Ольга прижалась боком к Игорю.

Нога в узкой аргентинской туфельке ступила на землю.

– Франция, – засмеялась Ольга, – ура! Что нас ждет?

– Картежниками снова станем? Только в марсельском порту! – весело крикнул Игорь.

На их русскую речь оглядывались. Ольга бросила по-французски:

– Гляди, какая очаровательная мулатка!

– Где?

– Вон, справа идет.

Игорь оглянулся на высоченную, выше его ростом, смуглую девушку с баранье-курчавой головой и губами, как два сложенных вместе банана.

– Ничего хорошего! Обезьяна и есть обезьяна!

– Говори лучше по-русски. Услышит и обидится!

Мулатка и правда услышала. Поняла: обсуждают ее. Выше вскинула кудрявую голову. Выпрямилась как струна. Гордо вперед пошла, и круглый крепкий зад вызывающе вертелся под слишком короткой юбкой.

– У нее ноги, как у бегунии.

– А может, она и впрямь спортс-вумен.

– Где остановимся?

– В любой гостинице. Я устала. Я здесь долго не продержусь! Жара! В Париж хочу.

* * *

Поезд шел с юга на север. Из Марселя – в Париж.

Поезд стучал колесами на стыках и кренился, поезд взлаивал короткими гудками и замедлял ход; а потом опять набирал, и летела паровозная гарь в открытые окна, и люди, ругаясь, ворча – ах, какая жара стоит невыносимая! – закрывали окна, вытирали закопченные, черные лица платками.

На деревянных сиденьях вагона сидели пассажиры, тоскливо глядели в окно, на выжженную землю и густоволосые сосны, на реки и озера, на древние замки и крестьянские хижины. Глядели друг на друга. Скрашивали беззастенчивым любопытством длинный, тоскливый путь.

Рауль не сводил глаз с женщины-павлина. О чудо, он купил билет, и место – прямо напротив нее! Чудовище, муж ее, спал. Храпел на весь вагон.

Павлиниха не глядела на бедного, бледного юношу в скромном черном костюмчике. Пусть ест ее глазами! Пусть выйдет в тамбур, остынет.

Она глядела на красавчика, что сидел рядом с юнцом.

У красавчика тонкие усики над верхней губой и очень белые зубы. У красавчика смуглые скулы и длинные, как мальки океанских рыб, густо-сине-черные, морские глаза. У красавчика волосы мягкие, как масло, как темное оливковое масло; должно быть, в ладони польются, если подставить.

По левую руку красавчика восседала его красотка. Начхать на красотку! Косится. Фыркает. Дикая кошка должна фыркать! Царапаться тоже должна.

Игорь ловил глазами в окне горы, долины, дороги. Толстопузый муж павлинихи сладко спал. Мальчик в черном костюмчике судорожно сжимал потные руки под полой бедного пиджачка. Толстяк проснулся, потянулся, вытащил из кармана трубку, открыл вагонное окно и закурил. Хлопья паровозной сажи опять полетели на головы, на плечи пассажиров.

Павлиниха, смерив муженька надменным взором с ног до головы, резко захлопнула окно.

Пузан все равно упрямо докурил трубку.

Мальчик отгонял табачный дым рукой от лица.

Павлиниха зло вытащила из сумки разноцветный, как она сама, веер, обмахивалась им.

Ольга нагнулась и вытянула из чемодана рукоделье – моток черной шерсти, деревянные спицы.

Сидела и вязала черное аргентинское пончо.

Поезд трясло, и Ольга не всегда попадала концами спиц в петли.

Тогда павлиниха скалила зубы, речные крупные перлы, в звериной наглой улыбке.

– Фрина, – проворчало чудовище, – выбей в окно трубку!

Павлиниха обернулась быстрее молнии.

– Я не твоя служанка, Доминго, – спокойно, весело сквозь зубы процедила.

Глава третья

Это сон. Только сон.

Вихри батиста, и легкие широкие шаги, и руки мужчин за спиной, на поясище, в белых перчатках кавалеры, в белых перчатках до локтей – дамы, море улыбок, разлив музыки.

Бал, Господи, бал.

Вихри летят, вихри сшибаются, скрещиваются клинками глаза, стреляют из-под бровей, летят копыя лучей из широко распахнутых глаз: солнце, так много солнца, а это люстры, люстры всего лишь, яркие люстры под потолком с мощной лепниной! Все плывет и качается, и важно не сбиться с ритма. Раз-два-три, раз-два-три, раз... У вальса есть пустота, пропуск в биении сердца. Аритмия. Раз... а где два-три? Не вздохнуть. И выдоха не надо. Ты – ветер, ты – воля; ты – вольная музыка, и тебя, лодку, река музыки несет и уносит.

Бал. Бал во дворце. Зачем так было?

Никто не знает.

Куда все кануло?

О, если бы знать.

Улыбка сквозь бороду, и серая синь спокойных светлых глаз, и сильная рука на твоей талии; тебя ведут, ведут в привольном танце, и ты еле успеваешь перебирать ногами, поспевая за кавалером. Никто не удивляется, что царь танцует с тобой. Какая честь! Ты запомнишь этот вальс на всю жизнь.

Что такое – вся жизнь?

После тура вальса бородатый офицер, твой царь, кланяется тебе. Ты, задыхаясь, приседаешь в реверансе, часто поднимается в вырезе белого платья твоя полудетская грудь. Царь вынимает из кармана странное, остро блеснувшее, витое. Витую спираль. Да, браслет. «Я дочери купил! Но возьмите. Носите. И – помните».

Нежная змейка. Кованое серебро.

Змея на ее тонком, как ветка, запястье.

Ты хочешь что-то сказать, но не можешь вымолвить ни слова. Ни слова.

Зачем слова, когда – танец? Змея – это время. Она ползет, кольцами тела отсчитывая время, измеряя. Холодом охватило руку. Холод. С люстры падает холод. Лед и снег. Свет обращается в лед. Волосы снегом летят. У тебя снежный наряд! Когда и где метель могилу твою занесет? О девочка, не скоро! Это было давно. До рожденья. Ты будешь жить всегда.

Еще вальс. Еще полонез. Мазурка. Закрываешь глаза.

Перед глазами плывут серые, серебряные крыши изб. Мертвые черные поля. Бинты снегов. Сахарные головы сугробов. Родина твоя. «Я хочу умереть на Родине, если надо будет умирать». Смерть – черная ягода смородины в царском варенье, в розеточке, на подносе в руках лакея. Умирают цари. Ты простая, и ты будешь жить. Долго. Вечно.

Это сон, родная. Лишь сон. Господи, молю, до срока его не прерывай.

* * *

Ифигения Дурбин захотела покататься с детишками в авто. Намеревалась проехаться до Булонского леса и обратно. Дети должны дышать свежим воздухом! Париж такой задымленный город! Легкие здесь чернеют! Надо проветривать тело и душу!

Набрала с помощью Лизетт в корзины всяких вкусностей: и икру лосося, и голубой, терпко-соленый козий сыр, и камамбер, и резаные ананасы, и красное ронское вино, а детям – в бутылках – соки и сливки! Шофер ждал у подъезда, милый славный мальчик, рыжий как костер, и на носу просо веснушек.

Женщины тащили корзины. Шофер бросился помочь, выпрыгнул из машины.
А дети вылетели из подъезда, две яркие бабочки, и – в авто впорхнули!

Сезар сел за руль. Русые локоны вились.

Ренетт угнездилась рядом, смотрела на братца, как на Санта-Клауса в Рождество.

– О-ля-ля! Поехали!

Сезар руки на руль положил. Так просто, шутя.

Нога в бархатном башмачке сама нажала педаль. Автомобиль взмукнул и тихо поехал вперед.

– О-о-о-о! Едем! Ура!

Улица скатывалась крутым выгибом вниз, к Сене. Машина катилась все быстрее, набирала ход. Дети веселились, Ренетт пыталась вырвать руль из рук Сезара: дай я! Я тоже хочу!

Рыжий парень, шофер, сломя голову бежал за машиной, орал как безумный, звал на помощь, догнать не мог.

Когда авто, вместе с детьми в нем, скатилось по берегу в Сену, по каменным ступеням, ведущим в темную воду, грузные, похожие на пузатые бутылки ноги Ифигении сделались воздушными, бесплотными, и она села на крыльцо дома, с корзиной еды в призрачных руках. Она видела, как утонули ее дети.

А ей казалось: она ослепла.

Шофер влез на Эйфелеву башню и бросился вниз, убоявшись суда. Лизетт накупила много мелких белых роз. Детей и рыжего шофера похоронили на кладбище Пер-Лашез. В двух гробиках лежали они, ангелочки, убранные кружевами от Андрэ и белыми розами. Со дна Сены их доставали баграми и повредили им ребра и спины, но лица остались нетронутыми, чистыми.

* * *

Анна сидела за столом, обняв голову руками. В пепельнице дымился окурок.

Она так всегда сидела, когда ей плохо было.

Аля сегодня пришла из школы мадам Куто домой и сказала: мама, я теперь буду ходить на балетные занятия! Анна глядела непонимающе: какой балет?

– Мама, я уже записалась! Мадам Козельская такая чудная! Вы только не ругайтесь!

– Кто такая мадам Козельская, черт возьми?

Папироса прыгала в желтых сухих пальцах.

– Казимира Козельская, мамочка, ее весь Париж знает! Она балерина. Она русская!

– Какая же русская, когда полька!

– Нет, русская! Она танцевала в России в Императорских театрах! В Мариинке! Она... – Аля запнулась, не знала, как высказать чужую тайну. – Ей... царь букеты дарил!

– А, Козельская. – Анна глубоко затаилась, устало бросила папиросу в пепельницу. Табак царапал горло. Терпела, не кашляла. – Понятно. И кто ж платить будет, дитя, за твои уроки? Нам нечем платить Лидии за постой! Она терпит нас из жалости! Мое жалованье все уходит на еду! Может, вместо того чтобы брать уроки, ты бы лучше стала их давать, а? Твой французский хорош. Ты прекрасно знаешь историю, географию. Ты могла бы и русский преподавать! Сходи на рю Дарю, погляди объявленья, может, что и найдешь!

Анна злилась откровенно, тряслась от негодованья. Аля бесстрашно подошла и прижалась крутым, как у бычка, круглым лбом к плечу матери.

– Мамочка, вы не волнуйтесь так! Мадам Козельская сказала – у меня талант! Она сказала: буду давать вам уроки бесплатно... потом как-нибудь отработаете! Мама, у нее в классе такие девочки, такие! – Аля захлебнулась от восторга. – Японочка одна, прелесть! У ней глазки такие узкие, узкие, как рыбки! И еще – индуска! Индуску зовут Амрита, а японочку – Изуми!

– Тихо, тихо, Аля, я все поняла, сейчас прыгать начнешь? Не верю, что мадам Казимира будет тебя без денег учить!

Анна хорошо вспомнила ее. Крошечная, изященькая, сама как японская куколка, и глазки по-японски подводила, даром что из Кракова родом. Да, ей царь последний, расстрелянный, тогда еще цесаревич, рукоплескал. И что? Сначала в объятьях цесаревича побывала, потом в объятьях его дяди, потом – в объятьях брата; и брат царя заключил с неунывающей крошкой-балериной морганатический брак. Они тайно обвенчались в Италии, в Риме. Анне об этом еще в Праге Заля Седлакова поведала. Волнами, кругами разбегались слухи по поверхности чужбинного темного моря.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.